

Сакмара Георгиевна Ильенко — доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАО. Заслуженный деятель науки РФ. Почетный доктор Кошицкого университета (Словакия).

В РГПУ (ЛГПИ) им. А. И. Герцена работает с 1951 г. С 1970 по 1986 г. — заведующая кафедрой русского языка. С 1953 по 1956 г. и с 1966 по 1969 г. — декан факультета русского языка и литературы. С 1965 г. — профессор кафедры русского языка.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», медалью Пушкина, нагрудными знаками «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник народного просвещения Узбекской ССР».

Основатель научно-педагогической школы по функциональному синтаксису. Руководитель основного научного направления «Система и функции в русском языке и русской речи». Научные исследования посвящены грамматике современного русского языка, проблемам текстообразования, современной языковой ситуации.

Опубликовано 140 научных работ. Подготовила более 10 докторов и более 40 кандидатов наук.

*С. Г. Ильенко,
профессор кафедры русского языка*

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Последние воспоминания детства

— Я родилась в 1923 году в Москве, где мы прожили около трех лет. Мы много путешествовали по России — побывали в Орле, в Смоленске, в Иркутске, в Твери. В Иркутске я окончила начальную школу, а в Твери, где мы подзадержались, — среднюю. Каждый раз, когда родители переезжали, меня подбрасывали к любимой бабушке в Москву, и я жила там то два, то три месяца. Уже когда мы жили в Твери — на праздники и на каникулы я продолжала ездить к бабушке.

И в семье было решено, что я поеду учиться в Москву, в Институт философии, литературы и истории. (В какой-то период гуманитарные факультеты МГУ выделились в отдельный институт, ИФЛИ, который располагался в Сокольниках.)

— *Как Вы решили стать филологом? И существует ли какой-то «педагогический ген»?*

— Какая-то наследственная предрасположенность, по-видимому, существует. Сколько я себя помню, я играла в учительницу. Сначала — просто с куклами. Потом, в четвертом классе, я занималась с первоклассниками. В те времена в школе широко практиковалась помощь хороших учеников отстающим. И в старших классах я помогала отстающим по русскому языку, по математике. Помню двух мальчишек из пятого класса, которые приходили ко мне заниматься математикой: я должна была их подтянуть, чтобы они с двойки хоть как-то перескочили на тройку...

В школе я была отличницей и все-таки из всех предметов больше всего любила историю и литературу.

— *Почему же все-таки не история, а филология?*

— Моя мать всегда была связана с книгой. Когда мы жили в Твери (город тогда назывался Калинин), она работала в библиотеке областной газеты (называвшейся, очень в духе времени, «Пролетарская правда»). В этой газете тогда же работал Борис Николаевич Полевой, автор «Повести о настоящем человеке».

За те шесть лет, что мы прожили в Калининне, моей матери удалось скомплектовать удивительную библиотеку. Она общалась с букинистами, со старожилками-интеллигентками, у которых покупала редкие книги.

Характерный штрих того времени: мама была любительницей книг, но считала, что дома нужно иметь только самые любимые — и еще поэзию. За всем остальным нужно ходить в библиотеку. Готовить уроки — в библиотеку, писать сочинение — в библиотеку... Бабушка из Москвы, правда, подарила мне собрания сочинений Пушкина, Толстого, Тургенева...

Видимо, меня все-таки окончательно покорила книга, и я решила, что пойду на филологический, причем скорее на литературоведение, чем на русский язык, — русский язык возник уже в Герценовском институте, под влиянием личности Надежды Павловны Гринковой.

18 июня 1941 года у нас в школе был выпускной бал, а 22 июня началась война. Почти все наши мальчики погибли. Они ведь были совсем не готовы к войне. Из тех, кто родился в 1922, 1923 и 1924 годах и пошел на войну, остались в живых немногие.

Хотя началась война, я поехала в Москву поступать в ИФЛИ. Поскольку у меня был золотой аттестат (аттестат с золотой каемочкой, в отличие от обычного, с черной; медалей за все пятерки тогда еще не давали), мне нужно было пройти только собеседование. Деканом факультета был в то время Гудзий, а собеседование проводили разные профессора, и очень по-разному. Кто-то спрашивал только по текстам: где родилась Мария Болконская (в романе лишь однажды упоминается, что она родилась в Кишиневе), как звали Савельича (ну, это уже легче: Архип), и так далее...

Собеседование сдавали по группам, в течение нескольких дней. Я увидела ребят, гораздо более подготовленных, чем я. Большинство — мальчики-очкарики: вечно читали книги под партой... Один мальчик особенно блистал своими знаниями, и когда его о чем-то спрашивали, он всегда знал ответ... Но когда он вышел после собеседования, то был весьма смущен. Его спросили, кого он знает из выпускников лицея — соучеников великого поэта? Как человек начитанный, он перечислил тех, кто есть в стихотворении «19 октября» (1825): Пушина, Дельвига, Горчакова, Кюхельбекера, Матюшкина. Потом

он еще вспомнил Малиновского, сына первого директора лицея... «И только?» — спросили его.

Под впечатлением от этого рассказа я отправилась к мужу моей тетки, дяде Николаю, который был в то время заведующим отделом рукописей и редкой книги в Ленинской библиотеке. «Я должна знать всех лицеистов», — сказала я дяде Николаю. Он позвонил, и мне принесли толстую книгу Гастфрейнда, дотошного немца, о первом выпуске лицея. Неимоверно скучная книга. О каждом из лицеистов там было все, что только можно собрать: генеалогия, состояние и имя, где что находится, и так далее... Читать это подряд, особенно в 17 лет, почти невозможно. Сейчас бы я, наверное, уже не вернулась к этой книге, — настолько она убила меня тогда. Я просидела над Гастфрейндом целый день, выписала всех двадцать девять лицеистов, выяснила, что тридцатого, некоего Гурьева, отчислили из лицея за безнравственность...

Разумеется, про лицеистов меня никто не спросил. Но, кажется, я и сейчас еще помню имена почти всех...

— *А о чем же спросили на собеседовании Вас?*

— Меня спросили о юбилее Пушкина (столетие со дня смерти широко отмечалось в 1937 году).

Надо сказать, в Твери у нас была очень хорошая учительница русского языка и литературы, Евгения Николаевна Власова. Будучи студенткой, в журнале «Русский язык в школе» я обнаружила статью о ней и ее разработки. Она была из очень творческих учителей.

В юбилейный год, когда я была в седьмом классе, мы в течение всего года все вместе готовили Пушкинский вечер. Кто-то рисовал пригласительные билеты, те, у кого были музыкальные способности, пели, кто-то разыгрывал сцену у фонтана из «Бориса Годунова»... Мне досталась роль ведущей этого мероприятия, называвшегося «Жизнь и творчество А. С. Пушкина»... Выглядело это так: мой рассказ, например, доходил до Михайловской ссылки — делался перерыв, появлялась сцена у фонтана...

Со всей юношеской наивностью я стала рассказывать о нашем празднике, который был таким замечательным... Слушали меня не без интереса, хотя и ожидали, очевидно, совсем другого...

Я знала дореволюционные издания Пушкина и комментарии к ним. Знала советские работы о Пушкине, но не знала зарубежных. Я не осознавала, что в разные времена и в разных странах Пушкин становился идеологическим символом. В СССР он превращался в большевика, в отчаянного революционера, отождествлялся с декабристами — причем эволюция пушкинского творчества не учитывалась: лишь бы доказать, что, как писал в своем сочинении один абитуриент, «Пушкин был предтеча большевизма»... Все это проникло и в литературоведение, хотя против этого и устояли Б. В. Томашевский, Г. О. Винокур, Д. Д. Благой, М. А. Цявловский — да и им иногда приходилось «грешить»...

Несмотря на мою наивность, мне все же сказали: «Можете считать, что вы прошли собеседование».

Война

Сразу после собеседования у меня был тяжелый приступ аппендицита. Это очень испугало мою маму: «Учись-ка ты лучше в Калининском педагогическом», — сказала она, — и в сентябре я пошла на занятия в Калининский педагогический институт. Я даже пошла на курсы медсестер, но уже в середине октября 1941 года Калинин был взят. Я помню, как мама пришла из редакции и сказала, что сегодня ночью нужно уходить, потому что завтра будет поздно: наши войска отступают.

Отец в это время был где-то на окопах: строил укрепления. Нас было трое: мама, я и наша домработница Аннушка. Надо сказать, что до войны во многих интеллигентных семьях, отнюдь не зажиточных, были домработницы: их труд был довольно дешев. Быт был не тот, что теперь, особенно в провинциальных городах, где нужно было топить печь, ходить за водой...

Мы собрали какой-то узел, очень нелепый, вышли из дома в четыре часа ночи и километров двадцать шли по шоссе, пока нас не подобрала редакционная машина. Мы были до того растеряны, что не сообразили даже самых примитивных вещей. У нас были очень хорошие альбомы со старинными фотографиями — кожаные, с пряжками, — и мама сказала: «Ну как же мы их понесем?» Аннушка, домработница, побежала и спрятала альбомы в дровяном сарае. Конечно, потом это все сожгли... Вынуть и забрать хотя бы некоторые фотографии не пришлось тогда в голову.

Было принято решение о том, что «Пролетарская правда» будет издаваться до тех пор, пока существует Калининская область. Мы ездили из города в город и выпускали где номер, где два. Но в газете не было корректора. И Борис Николаевич Полевой, который часто встречал меня в библиотеке, сказал редактору: «А вот Сакмара — она же отлично кончила десятилетку, пусть она и будет корректором!..»

Одно дело получить пятерку по русскому языку в аттестат, и совсем другое дело быть корректором, но выхода не было. Редактор был очень строгим, требовательным, и я боялась его как огня. Помню, как мне снились опечатки, которые я пропускаю...

Когда Калининская область была почти полностью занята немцами, редакцию распустили. Большинство мужчин поехали корреспондентами на фронт, а женщины должны были устраиваться кто как может. Это было в Кимрах, на Волге, и мама решила, что нужно садиться на баржу и плыть в Нижний Новгород, где было много родственников.

Мы плыли, плыли медленно и долго, и доплыли до Нижнего Новгорода. Это было поздней осенью.

— *Вы пошли учиться?*

— Я перевелась из Калининского в Горьковский пединститут и проучилась там до весны.

В марте 1942 года был комсомольский призыв девушек в армию. К нам приехал некто Кочемасов, секретарь горкома комсомола. Помню, что половина девушек не столько слушала его патриотические речи, сколько смотрела на этого довольно интересного молодого человека в кожаной тужурке...

Так или иначе, в марте 1942 года мы пошли добровольцами в армию. Думали, нас сразу же направят на фронт. Но нас сначала привезли в школу, где мы проходили строевую подготовку, учились стрелять, знакомились с уставом... Потом пришло распоряжение направить нас в части противовоздушной обороны.

Части ПВО были во всех больших городах, подвергавшихся массированным бомбардировкам. Были они и в Нижнем Новгороде — этот промышленный город очень сильно обстреливался. В ПВО были различные подразделения: артиллерия, прожекторы, связисты. Я попала в связисты и пробыла в армии до конца войны.

Моя военная жизнь, конечно, не сравнится с военной жизнью моего мужа, Л. М. Гольденберга, ставшего впоследствии профессором Института связи им. М. Бонч-Бруевича. В войну мой муж тоже был связистом — он был и под Сталинградом, и на Курской дуге, и форсировал Днепр... Настоящие фронтовики расшифровывали ПВО так: «пока воевать обождем».

И все же верно, что у войны — не женское лицо... Хотя фактически мы подвергались опасности не больше, чем обычные горожане, но сейчас я почти не представляю, как

я, например, могла лишь с помощью «когтей» забраться на телеграфный столб, чтобы соединить провода, — а ведь могла и не только это...

Сначала я была в прожекторном полку. Часто мы должны были подниматься на вышки с командиром. Мы знали все силуэты немецких самолетов во всех ракурсах, должны были распознавать их и докладывать: «В таком-то направлении появился “мессершмитт”...» Затем командир полка отдавал команду, которую мы должны были передать: какому подразделению вступать в действие. Это тяжело, потому что ошибиться нельзя.

Из части ПВО под Горьким меня, как грамотную девушку с хорошим почерком, перевели: я продолжала служить уже при штабе ПВО в Горьком. В штабе у меня была работа менее напряженная в физическом отношении, но очень напряженная во всех других... У войны не женское лицо — из-за того, что с женской психикой происходит что-то не то, что происходит с мужской во время войны...

В штабе полка мне пришлось принимать телефонограмму о своей однокурснице Любе Барсовой — мы вместе учились на факультете русского языка и литературы. Я получила телефонограмму, которую должна была немедленно передать командиру полка: Люба Барсова покончила с собой.

Артиллерийские и прожекторные точки были рассеяны вокруг Горького. В каждом расчете — одиннадцать человек: старшина и десять девочек, у каждой свой номер. Во время налета все занимают свои позиции, чтобы прожекторами поймать вражеский самолет. Расчеты стоят в поле, кругом зима, иногда волки воют.

Люба была славная, без каких-либо странностей девушка. И вот она вышла, сняла обувь, поставила под грудь винтовку и нажала на курок...

Это был не единственный случай. Другая девушка у нас в части пыталась покончить с собой, но лишь легко себя ранила и осталась жива. Ее судил трибунал. Суд был открытый. Помню, как председательствующий спрашивал ее: «Старшина к тебе приставал?» А она отвечала: «Да, приставал. Он говорил мне “Ах ты, чадо мое, чадо!”» Это была простая крестьянская девушка, она не знала слова «чадо»... В конце концов ее приговорили к отправке в штрафной батальон. Дальнейшей ее судьбы я не знаю, но штрафной батальон — это была почти верная смерть. Лишь единицам удавалось пройти штрафбат и остаться в живых. Среди таких счастливиц оказался и мой однокурсник, живущий сейчас в Новосибирске профессор А. Н. Федоров.

— *Что стало с Вашим отцом?*

— Отец нашел нас с мамой в Горьком, у родных. Он еще успел проводить меня в армию. Вспоминаю, как он помогал девушкам забираться в грузовики... Ему тоже пришла повестка в армию, но вскоре после этого он умер: он был уже серьезно болен.

О городе и об эпохе

— *Как Вы попали в Ленинград? Какое впечатление произвел на Вас город?*

— В 1946 году я перевелась в Герценовский педагогический институт. Мне говорили тогда: «Ах, вы с фронта! Так у вас, получается, три года потеряны...» Но я не считаю, что эти годы были «потеряны»... У человека обязательно должно быть что-то за плечами — то, о чем можно сказать: «Я смог, я сделал это». За что не было бы стыдно.

Ленинград 1946 года, конечно, отличался от сегодняшнего Петербурга... Но все-таки была Стрелка Васильевского острова, были мосты, были набережные... Е. Г. Эткинд говорил: «Рим — это Италия, Париж — это Франция, Берлин — это Германия, а Петербург — это Европа». И это действительно так. Петербург поражает своим европейским космополитизмом.

— Почему в Герценовском институте Вы стали заниматься лингвистикой, а не литературоведением?

— Отчасти из-за того, что я попала под обаяние личности Надежды Павловны Гринковой. Она читала нам лекции по истории языка и вела семинар по «Слову о полку Игореве». В аспирантуру меня приглашали сразу на три кафедры, но я все-таки предпочла кафедру русского языка.

В те времена довольно распространены были публичные диспуты между учеными. Мне довелось присутствовать на диспуте о Достоевском. Декан факультета В. П. Друзин, ставший редактором журнала «Звезда» после знаменитого ждановского постановления, «разоблачавшего», в частности, Зощенко и Ахматову, организовал диспут между профессором А. С. Долининым и «чиновником от литературы» В. В. Ермиловым. Диспут был превращен в идеологический разгром глубокого и тонкого исследователя Достоевского Аркадия Семеновича Долинина. Примечательно, что студенты поддержали Долинина... Подобные «диспуты» подавляли желание заниматься литературоведением. Не хотелось оказаться в сугубо идеологическом пространстве. У Н. П. Гринковой я стала заниматься языком художественной литературы. Моя кандидатская диссертация была посвящена стилю автобиографической трилогии М. Горького. Но и от этой проблематики я ушла, пытаясь найти в языкознании нишу, наиболее объективизированную, вне субъективистских представлений. Случилось это так. В 50-е годы в «Вопросах литературы» появилась статья Поляк, в которой резко критиковались лингвистические работы, посвященные языку писателя. Был выхвачен фрагмент из моей статьи, который вне контекста, действительно, выглядел по-дурацки. Эпиграфом же к этой статье, критиковавшей языковедов, были слова Твардовского: «Не боги горшки обжигают, но мастера». Меня это больно задело. Все-таки хотелось быть мастером... И тогда я решила: все, буду заниматься грамматикой. Здесь, как мне по наивности казалось, гораздо больше объективных критериев, подходов и оценок. Только со временем начинаешь понимать, что занятия наукой требуют терпения и мужества.

В начале 1960-х годов у нас на кафедре почти никто не занимался современным русским языком. Это было непрестижно. Все занимались главным образом историей языка, диалектологией, общим языкознанием. Когда было решено, что я стану заниматься современным русским языком, все преподаватели подходили ко мне и выражали свое сочувствие — это воспринималось как какая-то «лингвистическая ссылка»...

Что значит быть настоящим лингвистом?

— Как Вам кажется, что значит быть настоящим лингвистом сегодня?

— Исходя из моего «лингвистического воспитания», скажу, что настоящий лингвист должен обладать по-настоящему хорошим знанием истории языка, которым он занимается. Он не должен барахтаться в одном-единственном языке. Скажем, если это русский язык — необходимо знать по крайней мере какие-то славянские языки. Представить себе прежнее поколение языковедов без этого невозможно.

— Вам кажется, это был золотой век языкознания?

— В отношении сравнительно-исторических исследований — да. Однако надо признать, что в отношении метода в ту эпоху, вплоть до последней трети века, господствовала практически сплошная описательность. Теорией занимались лишь единицы: Востоков, Потемня, Шахматов, Щерба... Вспоминается «Именное склонение» Обнорского — толстенная книга, в которой все подробнейшим образом собрано, но очень не хватает теоретического воздуха.

ПРИЗЫВНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ОТЕЧЕСТВА

Теория по-настоящему возрождается к концу XX века. Хотя и до этого были, конечно, исключения. Например, Вячеслав Всеволодович Иванов. Идеальный языковед — в том смысле, что в его исследовательском распоряжении — до сотни языков. На нескольких он может свободно изъясняться и оперирует фактами из еще нескольких десятков.

Сейчас совсем немного настоящих русистов. Особняком стоит фигура Александра Владимировича Бондарко.

— *От каких опасностей хотели бы Вы предостеречь молодых коллег?*

— От тех же опасностей, что грозили всегда. От замкнутости в своей скорлупе: «Русский язык — так больше ничего и не надо!», а кроме того, от пренебрежения материалом. С развитием компьютерных технологий, с увеличением скорости нашей жизни мы подчас становимся менее требовательны к самим себе. Хочется предостеречь и от самоуспокоенности, самодовольства.

*Интервью записал и подготовил к печати В. В. Хохряков,
аспирант Института лингвистических исследований РАН,
выпускник филологического факультета
РГПУ им. А. И. Герцена 2007 г.*